

ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ

1

– Лиля, – говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку, пожимаю и отпускаю. Я бормочу при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно назвать свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» – с восторгом думаю я.

Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник, и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, нет, не танцевать – танцевать я не умею, я люблю слушать хороший джаз. Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник.

После того как она назвала свое имя, наступает долгое молчание. Я знаю, что она ждет от меня чего-то. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое, может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы. Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Чудесное имя, произнесенное грудным голосом! И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыка больше нет, и мне не за что спря-

таться. Мой приятель отстает со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те идут еще медленней. Я знаю, он делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны – оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное, очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

– Вы любите Москву? – вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго.

Я вздрагиваю от ее глубокого голоса. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, переводя дух. Наконец, собираюсь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я тоже люблю... Потом я снова умолкаю.

Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов я могу уйти домой, я тут рядом живу, и вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слушаем певицу, но ее плохо слышно: возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фойе, плохо слушают оркестр. Слушают и аплодируют только передние, а сзади едят мороженое и конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не

услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Я никогда раньше не обращал внимания на них, но теперь я очень заинтересован. Я думаю о художниках, которые их написали. Видимо, не зря повесили эти картины в фойе. Очень хорошо, что они висят тут.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

Нет, я больше не могу стоять с ней! Почему она так меня рассматривает?

— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но когда в комнате много дыма, когда воздух совсем темный от дыма, почему-то не хочется курить. Я осматриваюсь: стоит и сидит много людей. Некоторые спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно, если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут. Нет, я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике. А Лиля жестокая, решаю я, у нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, поэтому я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец-то звонок. Я очень медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу. На улицах нет почти никого. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, уже не все окна горят, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки больше не слышно оттуда. Некоторое время мы стоим совершенно молча. Лиля странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы... Наконец, я очень небрежно, как бы между прочим говорю, что нам нужно еще встретиться завтра. Я очень рад, что во дворе темно и она не видит моих пылающих ушей.

Она согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.

Я размышляю, прилично ли будет позвать ей руку на прощанье. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.

2

На другой день я прихожу к ней засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они уже приехали? Остальные стоят просто так. Мне

кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам на улице. Я заглядываю в окно и откашливаюсь.

— Лиля, вы дома? — спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это прямо замечательно, что у меня не прервался голос.

Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.

— Идите скорей! — зовет меня Лиля.

Но мне невыносимо идти двором, я никак не могу идти двором...

— Я к вам влезу через окно! — решительно говорю я и вспрыгиваю на подоконник. Я очень легко и красиво вспрыгиваю, перебрасываю одну ногу через подоконник и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на подоконнике: одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилию.

— Ну, лезьте же! — нетерпеливо говорит Лиля. Брови ее сходятся, и щеки все больше краснеют.

— Не люблю летом торчать в комнатах... — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Лучше я подожду вас на улице.

Я спрыгиваю с подоконника и отхожу к воротам. Как они смеются теперь надо мной! Я знаю, девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем! Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом я поворачиваюсь и вдруг вижу Лилию. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лиля

начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно иногда читать с конца, тогда выходят смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее. Она очень красивая и умная.

Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару! Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга. Примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.

Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, мы перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени, впереди длинный, длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью.

Вдруг я замечаю, что у нее расстегнулось платье. У нее чудное платье, я таких ни у кого не видел — от ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулись, а она этого не замечает. Но не может же она ходить по улицам в расстегнутом платье! Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя сделать, это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь, вдерживаю паузу в ее разговоре и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает. А я смотрю на большую надпись, торчащую на крыше. Написано, что каждый может выиграть сто

тысяч. Очень оптимистическая надпись. Вот бы нам выиграть когда-нибудь!

Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее. Платье застегнуто, щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня, смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.

Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и ходим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к Трубной, оттуда по Неглинке идем к Большому театру, потом к Каменному мосту... Я готов ходить бесконечно. Я только спрашиваю у нее, не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах, тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой скамейке по одной паре. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли и мы с Лилей сидеть когда-нибудь так.

На улицах совсем нет людей, только милиционеры. Они все смотрят на нас. Некоторые выразительно покашливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лиля наклоняет голову и ускоряет шаг. А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую.

Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно. Мы понижаем наши голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется, нас кто-то подслушивает.

Домой я прихожу в три часа. Только сейчас я чув-

ствую, как гудят ноги. Как же тогда устала она! Я зажигаю настольную лампу и начинаю читать. Я читаю «Замок Броуди», который дала мне Лиля. Это замечательная книга, я читаю ее и все время вижу почему-то лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и слышу ее нежный грудной голос. Между страниц мне попадает длинный темный волос. Это ее волос — ведь она читала «Замок Броуди». Почему я решил, что у нее жесткие волосы? Это очень мягкий, шелковистый волос. Я осторожно сворачиваю его и кладу в том энциклопедии. Потом я спрячу его получше.

Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из наших окон видны крыши многих домов. А вдали, там, откуда летом встает солнце, видна звезда Кремлевской башни. Одна только звезда видна. Я люблю подолгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно. Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.

3

А через неделю мы с матерью уезжаем на Север. Я давно мечтал об этой поездке — с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла.

Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса, и весь переполнен радостью первооткрывателя. У меня есть ружье. Мне купили его, когда я окончил девять классов. И я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Иногда я устаю. Тогда я сажусь и смотрю на широкую реку, на низкое осеннее небо. Август. И на Севере очень часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду, и в солнце я выхожу рано утром из дому и иду в лес. Там я охочусь и собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу! Можно сесть на берегу

озера и сидеть неподвижно. Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть, прямо вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто греются или спят. И мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все как сквозь сон.

Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма, и она понимает меня, хотя женщины вообще не любят и не понимают охоты.

Иногда я возвращаюсь домой ночью. Я иду по-лем, и мне немного страшно. Со мной заряженное ружье, но все-таки я часто оглядываюсь. Очень темно. Только в небе, если долго смотреть, можно заметить слабый свет. Но на земле очень темно. Надо мной кругами беззвучно летают совы. Я вижу их, но, сколько бы я ни прислушивался, мне не удастся услышать взмахов их крыльев. Однажды я выстрелил. Сова глухо ударилась о межу и долго потом щелкала во тьме клювом...

Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив дома чемоданы, я иду к Лиле. Вечер, ее окна светятся — значит, она дома. Я подхожу к окну, пробираясь через леса — ее дом ремонтируют, — и смотрю сквозь занавеску.

Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она переворачивает страницу, облакачивается, поднимает глаза и смотрит

на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные глаза. Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной. Этот сосновый запах доносится ко мне, как далекий отзвук моих охот, как воспоминание обо всем, что я оставил на Севере. За моей спиной слышны шаги прохожих. Люди идут куда-то, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и свои любви, они живут каждый своей жизнью. Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая.

— Лилия! — зову я негромко.

Она вздрагивает, брови ее поднимаются. Потом она встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза.

— Алеша! — говорит она медленно. На щеках ее появляются едва заметные ямочки. — Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.

Я выбираюсь из лесов, перехожу на другую сторону и смотрю на ее окна. Вот гаснет свет, проходит короткая минута, и в черной дыре ворот показывается фигура Лили. Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу. Она хватается мои руки и долго держит их в своих руках. Мне кажется, она загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.

— Пойдем гулять! — говорит наконец она.

И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь — так вдруг ослабли мои ноги. Даже после самых утомительных охот они так не дрожали.

Но мне неудобно идти с ней. Я только на минутку зашел повидать ее. Я так плохо одет. Я прямо с

дороги, на мне лыжный костюм, сбитые ботинки. Костюм прожжен в нескольких местах. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, очень часто прожигашь куртку и брюки. Нет, я никак не могу идти с ней.

— Какая чепуха! — беспечно говорит она и тянет меня за руку. Ей нужно со мной поговорить. Она совсем одна, подруги еще не приехали, родители на даче, она страшно скучает, и все время ждала меня. При чем здесь костюм? И потом, почему я не писал? Мне, наверное, было приятно, что другие мучаются?

И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. С шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят, автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. Потом дождь перестает, мы выходим, смеемся, перепрыгиваем через лужи. Но дождь начинается с новой силой, и мы снова прячемся. На ее волосах блестят капли дождя. Но еще сильнее блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.

— Ты вспоминал обо мне? — спрашивает она. — Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю почему. Ведь мы знакомы так мало. Правда? Я читала книгу и вдруг думала, понравилась бы она тебе. У тебя уши не краснели? Говорят, если думаешь долго о ком-нибудь, у него начинают уши краснеть. Я даже в Большой не пошла. Мне мама дала один билет, а я не пошла. Ты любишь оперу?

— Еще бы! Я, может, скоро стану певцом. Мне сказали, что у меня хороший бас.

— Алеша! У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потионьку спой, и никто не услышит, одна я.

Сначала я отказываюсь. Потом я все-таки пою. Я пою романсы и арии и не замечаю, что дождь уже кончился, по тротуару идут прохожие и оглядывают-

ся на нас. Лиля тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза ее блестят.

4

Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уж семнадцать или восемнадцать лет, а ты еще ничего не сделал. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, бурной жизни! Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру — бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб... И чтобы в ложе непременно сидела Лиля! Что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день был днем борьбы и побед! Я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли я на тяжелый труд, хватит ли у меня сил на свершение великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Все смотрят на меня как на мальчишку, даже иной раз ерошат мне волосы, будто мне еще десять лет! И только Лиля, одна Лиля понимает меня, только с ней я могу быть до конца откровенным.

Мы давно уже занимаемся в школе: она в девятом, я — в десятом. Я решил заняться плаванием и стать чемпионом СССР, а потом и мира. Уже три месяца хожу в бассейн. Кроль — самый лучший стиль. Это самый стремительный стиль. Он мне очень нравится. Но по вечерам я люблю мечтать.

Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но откры-

ваю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!

Я начинаю ходить по трестам и главкам. Их много в Москве, и все они со звучными загадочными названиями. Да, экспедиции отправляются. В Среднюю Азию, и на Урал, и на Север. Да, работники нужны. Какая у меня специальность? Ах, у меня нет специальности... Очень жаль, но мне ничем не могут помочь. Мне необходимо учиться. Рабочим? Рабочих они нанимают на месте. Всего доброго!

И я снова хожу в школу, готовлю уроки... Что ж, придется покориться обстоятельствам. Хорошо, я окончу десять классов и даже поступлю в институт. Мне теперь все безразлично. Я поступлю в институт и стану потом инженером или учителем. Но в моем лице люди потеряют великого путешественника.

Наступил декабрь. Все свободное время я провожу с Лилей. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается ехать в деревню, но у нее нет тепло-го платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле. Мы идем с ней на каток, потом — греться в Третьяковку. В Третьяковке зимой очень тепло, там есть стулья, и на стульях можно посидеть и потихоньку поговорить. Мы бродим по залам, смотрим картины. Особенно я люблю «Девочку с персиками» Серова. Эта девочка очень похожа на Лилю. Лиля краснеет и смеется, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом

и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет. Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз, и тут я вспоминаю, что мне нужно было съездить за шалью. Я с испугом говорю об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедem за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы ходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички. Слышны разговоры и смех, вспыхивают огоньки папирос. Иногда кто-нибудь впереди бросает окуроч на дорогу. Мы подходим, он все еще светится. Вокруг огонька — маленькое розовое пятнышко на снегу. Мы не наступаем на него. Пусть еще посветится во тьме. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Тут гораздо темнее, чем в поле. Только из окон некоторых дач падают на снег желтые полосы света. Многие дачи стоят совсем глухие, темные: в них, наверное, зимой не живут. Сильно пахнет березовыми почками и чистым снегом, в Москве так никогда не пахнет.

Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.

— Лиля, ты подождешь меня немного? — нерешительно прошу я. — Я очень скоро.

— Хорошо, — соглашается она. — Только недолго. Я совсем замерзла. У меня замерзли ноги. И лицо. Нет, ты не думай, я рада, что поехала с тобой! Только ты недолго, правда?

Я ухожу, оставляя ее на темной просеке совсем одну. У меня очень нехорошо на сердце.

Тетя и двоюродная сестра удивлены и обрадованы. Почему я так поздно? Как я вырос! Совсем мужчина. Наверное, я останусь ночевать?

- Как здоровье мамы?
- Спасибо, очень хорошо.
- Папа работает?
- Да, папа работает.
- Все там же? А как здоровье дяди?

Господи, тысячи вопросов! Сестра смотрит расписание поездов. Ближайший обратный поезд идет в одиннадцать часов. Я должен раздеться и выпить чаю. И потом я должен дать им посмотреть на себя и рассказать обо всем. Ведь я не был у них целый год. Год — это очень много.

Меня насильно раздевают. Топится печка, ярко горит лампа в розовом абажуре, стучат старинные часы. Очень тепло, и очень хочется чаю. Но на темной просеке меня ждет Лиля!

Наконец я говорю:

– Простите, но я очень спешу... Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет... один приятель.

Как меня ругают! Я совсем невоспитанный человек. Разве можно оставлять человека на улице в такой холод! Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погода опять хрустит снег, и сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки.

Понемногу мы отогреваемся. Потом садимся пить чай. Лилия стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив! Я выпил уже пять стаканов чаю.

Потом мы встаем из-за стола. Пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велют Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза.

Мы выходим на улицу и первое время ничего не

видим. Лилия крепко держится за меня. Отойдя от дома, мы начинаем немного различать тропинку. Лилия вдруг начинает хохотать. Она даже падает два раза, и мне приходится поднимать ее и вытряхивать снег из рукавов.

– Какой у тебя был вид! — еле выговаривает она.
– Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели!

Я тоже хохочу во все горло.

– Алеша! — вдруг со сладким ужасом говорит она.
– А ведь нас могут остановить!

– Кто?

– Ну мало ли кто! Бандиты... Они могут нас убить.

– Ерунда! — говорю я громко.

Кажется, я говорю это слишком громко. И почему-то вдруг начинаю чувствовать, что на улице мороз. Он даже как будто покрепчал, пока мы пили чай и разговаривали.

– Ерунда! — опять повторяю я. — Никого здесь нет!

– А вдруг есть? — быстро спрашивает Лилия и оглядывается. Я тоже оглядываюсь.

– Ты боишься? — звонко спрашивает она.

– Нет! Хотя... А ты боишься?

– Ах, я страшно боюсь! Нас определенно разденут. У меня предчувствие.

– Ты веришь предчувствиям?

– Верю. Зачем я поехала? Впрочем, я рада все равно, что поехала.

– Да?

– Да! Если даже нас разденут и убьют, я все равно не пожалею. А ты? Ты согласился бы умереть ради меня?

Я молчу и только крепче сжимаю ее руку. Если бы мне только представился случай, чтобы доказать ей свою любовь!

– Алеша...

— Да?

— Я у тебя хочу спросить... Только ты не смотри на меня. Не смей заглядывать мне в лицо! Да... о чем я хотела? Отвернись!

— Ну вот, я отвернулся. Только ты смотри на дорогу. А то мы споткнемся.

— Это ничего, я в платке, мне не больно падать.

— Да?

— Алеша... Ты целовался когда-нибудь?

— Нет. Никогда не целовался. А что?

— Совсем никогда?

— Я целовался один раз... Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать.

— Правда? Ты не помнишь ее имени?

— Нет, не помню.

— Тогда это не считается. Ты был еще мальчик.

— Да, я был мальчик.

— Алеша... Ты хочешь меня поцеловать?

Я все-таки спотыкаюсь. Теперь я не отворачиваюсь больше, я внимательно смотрю на дорогу.

— Когда? Сейчас? — спрашиваю я.

— Нет, нет... Если мы дойдем до станции и нас не убьют, тогда на станции я тебя поцелую.

Я молчу. Мороз, кажется, послабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щеки. И жарко. Или мы так быстро идем?

— Алеша...

— Да?

— Я совсем ни с кем не целовалась.

Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед, на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы тридцать километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь!

— Это, наверное, стыдно — целоваться? Тебе было стыдно?

— Я не помню, это было так давно... По-моему, это не особенно стыдно.

— Да, это было давно. Но все-таки это, наверное, стыдно.

Мы идем уже полем. На этот раз мы совсем одни в пустом поле. Ни души не видно ни впереди, ни сзади. Никто не бросает на дорогу горящих окурков. Только звонко скрипят наши шаги. Вдруг впереди вспыхивает светлячок, бледный светлячок, похожий на далекую свечку. Он вспыхивает, качается некоторое время и гаснет. Потом опять зажигается, но уже ближе. Мы смотрим на этот огонек и наконец догадываемся: это электрический фонарик. Потом мы замечаем маленькие черные фигуры. Они идут нам навстречу от станции. Может быть, это приехавшие на электричке? Нет, электричка не проходила, мы не слышали никакого шума.

— Ну вот... — говорит Лиля и крепче прижимается ко мне. — Я так и знала. Сейчас нас убьют. Это бандиты.

Что я могу ей сказать? Я ничего не говорю. Мы идем навстречу черным фигурам, мы очень медленно идем. Я вглядываюсь, считаю: шесть человек. Нащупываю в кармане ключ и вдруг испытываю прилив горячего восторга и отваги. Как я буду драться с ними! Я задыхаюсь от волнения, сердце мое бурно колотится. Они громко говорят о чем-то, но шагах в двадцати от нас замолкают.

— Лучше бы я тебя поцеловала, — печально говорит Лиля. — Я очень жалею...

И вот мы встречаемся на дороге среди пустынного поля. Шестеро останавливаются, зажигают фонарик, его слабый красноватый луч, скользнув по снегу, падает на нас. Мы шуримся. Нас оглядывают и молчат. У двоих распахнуты пальто. Один торопливо докуривает папиросу, сплевывает в снег. Я жду оклика или удара. Но нас не окликают. Мы проходим.

— А девочка ничего, — сожалеюще замечает кто-то сзади. — Эй, малый, не робей! А то отобьем!

— Ты испугался, да? — спрашивает Лиля немного погодя.

— Нет! Я только за тебя боялся...

— За меня? — она сбоку странно смотрит на меня и замедляет шаги. — А я ни капельки не боялась! Мне только платка жалко было.

Больше до самой станции мы не говорим. У станции Лиля, становясь на цыпочки и обсыпаясь снегом, срывает веточку сосны и сует в карман. Потом мы поднимаемся на платформу. Никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Мы начинаем топать: очень холодно. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам. Я стою на краю платформы, над рельсами, и вытягиваю шею, стараюсь увидеть огонек электрички.

— Алеша... — зовет меня Лиля. У нее странный голос.

Я подхожу. Ноги мои дрожат, мне делается вдруг чего-то страшно.

— Прижмись ко мне, Алеша, — просит Лиля. — Я совсем замерзла.

Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней, и мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней, волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд! Снег скрипит у нас под ногами. Мы стоим неподвижно, но он скрипит. Сзади раздаётся вдруг звонкий шелчок. Он сухо катится по доскам, как по льду на реке, и затихает где-то на краю платформы. Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить.

Лиля шевелит губами. Глаза ее делаются совсем черными.

— Что же ты не целуешь меня? — слабо шепчет она. Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они опять шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно кружиться. Они теплые. Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы.

Она целуется и смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня любит.

Так мы целуемся в первый раз. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы стоим не шевелясь. Я смотрю поверх ее плеча, в темный зимний лес за платформой. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца, а она, наверное, слышит стук моего сердца. Потом она шевелится и затаивает дыхание. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

Вдали слышен низкий гудок, сверкает ослепительная звездочка. Подходит электричка. Через минуту мы входим в светлый и теплый вагон, со стуком захлопываем за собой дверь и садимся на теплую лавочку. Людей в вагоне мало. Одни читают, шуршат газетами, другие дремлют, покачиваясь вместе с вагоном. Лиля молчит и всю дорогу смотрит в окно, хоть стекла замерзли, на дворе ночь и решительно ничего нельзя увидеть.

5

Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я никак не могу решить, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я, одинокий, бродил по Северу? А может, во время поцелуя на платформе? Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя: Лиля? Я не знаю. Я только одно знаю, что теперь уж я не могу без нее. Вся моя жизнь теперь делится на две части: до нее и при ней. Как бы я жил и что значил без нее? Я даже думать об этом не хочу, как не хочу думать о возможной смерти моих близких.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся. Потом... Потом все катится под гору, все быстрее, все ужаснее. Все чаще ее не оказывается дома, все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Я чувствую, как уходит она от меня с каждым разом все дальше, все дальше...

Сколько в мире девушек, которым по семнадцать лет! Но ты знаешь одну, только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск, и глубину, и влажность, только ее голос трогает тебя до слез, только ее руки ты боишься даже поцеловать. Она говорит с тобой, слушает тебя, смеется, молчит, и ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит, так же как и ты ее.

Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь равнодушны, ушли в себя, и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Самые священные твои порывы, затаенные и гордые мысли — не для нее, и сам ты со всей сложностью и красотой своей души — не для нее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном неповторимом мире, а тебе нет туда доступа, ты грешник — и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя! Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на

тебя, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость — все, но того, что тебе надо, не появится, и единственного взгляда ты не получишь, ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты даже можешь стать героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно! Как тяжело жить!

И вот уже весна... Много солнца и света, голубое небо, липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать Май. И я, как и все, тоже собираюсь. Мне подарили к Маю сто рублей — теперь я самый богатый человек! И у меня впереди целых три свободных дня. Три дня, которые я проведу с Лилей — не станет же она и в эти дни готовиться к экзаменам! Нет, я не пойду никуда, никакие компании мне не нужны, я буду эти дни вместе с ней. Мы так давно не были вместе...

Но она не может быть со мной. Ей нужно ехать на дачу к больному дяде. Ее дядя болен, и ему скучно, он хочет встретить Май в кругу родных, и вот они едут — ее родители и она. Прекрасно! Очень хорошо встретить Май на даче. Но мне так хочется побыть с ней... Может быть, второго мая?

Второго? Она раздумывает, наморщив лоб, и слегка краснеет. Да, может быть, она вырвется... Конечно, она очень хочет! Мы ведь так давно не были вместе. Итак, второго вечером, у телеграфа на улице Горького.

В назначенный час я стою у телеграфа. Как много здесь народу! Над моей головой глобус. Еще сумерки, но он уже светится — голубой, с желтыми материками — и тихонько крутится. Полыхает иллюминация: золотые колосья, голубые и зеленые искры. От света иллюминации лица у всех очень красивые. У меня в кармане сто рублей. Я их не истратил вчера, и они со мной — мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино... Я терпеливо жду. Кругом все нервничают, но я удивительно спокоен.

По улице, прямо посередине идут толпы людей. Как много девушек и ребят, и все поют, кричат что-то, играют на аккордеонах. На всех домах флаги, лозунги, много огней. Поют песни, и мне тоже хочется запеть, ведь у меня хороший голос. У меня бас. Я когда-то мечтал стать певцом. О многом я мечтал...

Вдруг я вижу Лилю. Она пробирается ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются — так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Сердце мое начинает колотиться. Она быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут меня. Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в шляпе и смотрит на меня. Он красивый, этот парень, и он держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как я только на второй месяц осмелился взять ее под руку.

— Здравствуй, Алеша, — говорит Лиля. Голос у нее немного дрожит, а в глазах смущение. Только небольшое смущение, совсем маленькое. — Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом и чуть хмурится. Потом она поворачивает голову и смотрит на парня. У нее очень нежная шея, когда она смотрит на него. Смотрела ли она так на меня?

— Познакомьтесь, пожалуйста!

Мы знакомимся. Он крепко жмет мне руку. В его пожатии уверенность.

— Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр... Ты не обижаешься?

— Нет, я не обижаюсь.

— Ты проводишь нас немножко? Тебе ведь все равно сейчас нечего делать.

— Провожу. Мне действительно нечего делать.

Мы вливаемся в поток и вместе с потоком движемся вниз, к Охотному ряду. Зачем я иду? Что со

мною делается? Кругом поют. Играют аккордеоны. На крышах домов гремят репродукторы. В кармане у меня сто рублей! Совсем новая хрустящая бумажка в сто рублей. Но зачем я иду, куда я иду!

— Ну как дядя? — спрашиваю я.

— Дядя? Какой дядя?... Ах, ты про вчерашнее? — она закусывает губу и быстро взглядывает на парня. — Дядя поправляется... Мы очень здорово встретили Май, так весело было! Танцевали... А ты? Ты хорошо встретил?

— Я? Очень хорошо.

— Ну я рада!

Мы заворачиваем к Большому театру. Мы идем все рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Она сейчас за тысячу верст от меня. Почему у меня першит в горле? И щиплет глаза? Заболел я, что ли? Доходим до Большого театра, останавливаемся. Молчим. Совершенно не о чем говорить. Я вижу, как парень легонько сжимает ее локоть.

— Ну мы пойдем. До свидания! — говорит Лиля и улыбается мне. Какая у нее виноватая и в то же время отсутствующая улыбка!

Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У нее легкая фигура. Где я впервые увидел ее фигуру? Ах да, в черной дыре ворот, когда я приехал с Севера. Тогда ее фигура поразила меня. Потом я любовался ею в Колонном зале и в консерватории. Потом на школьном балу... Изумительный зимний бал! А сейчас она уходит и не оглядывается. Раньше она всегда оглядывалась, когда уходила. Иногда она даже возвращалась, внимательно смотрела мне в лицо и спрашивала:

— Ты что-то хочешь мне сказать?

— Нет, ничего, — отвечал я со смехом, счастливый оттого, что она вернулась.

Она быстро оглядывалась по сторонам и говорила:

— Поцелуй меня!

И я целовал ее, пахнущую морозом, на площади или на углу улицы. Она любила эти мгновенные поцелуи на улице.

— Откуда им знать! — говорила она о людях, которые могли увидеть наш поцелуй. — Они ничего не знают! Может, мы брат и сестра. Правда?

Теперь она не оглядывается. Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь. То и дело слышен смех. Идут по двое, и по трое, и целыми группами — совсем нет одиноких. Одинокому невыносимо на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят дома. Я стою и смотрю... Вот они уже скрылись в освещенном подъезде. Весь вечер они будут слушать оперу, наслаждаясь своей близостью. Надо мной в фиолетовом небе летит и никак не может улететь крылатая четверка коней. И в кармане у меня сто рублей. Совсем новая бумажка, которую я не истратил вчера...

6

Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не оставилась. Я почти позабыл о Лиле. Да, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я встретился с ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я. Хотя у меня произошло за это время много нового. Год — это ведь очень много!

Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учебы, никто не зовет меня гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль — самый

стремительный стиль. Впрочем, это не важно.

Однажды я получил от нее письмо. Опять весна, снова май, легкий май, у меня очень легко на душе. Я люблю весну. Я сдаю экзамены и перехожу на второй курс. И вот я получаю от нее письмо. Она пишет, что вышла замуж. Еще она пишет, что уезжает с мужем на Север и очень просит прийти проводить ее. Она называет меня «милый», и она пишет в конце письма: «Твоя старая, старая знакомая».

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с очень замысловатым рисунком. Я люблю смотреть на эти рисунки. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой. Она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более что я давно все забыл: мало ли чего не бывает в жизни! Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад!

И я еду на вокзал в тот день и час, которые указала она мне в письме. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и муж — тот самый парень. Они все громко говорят и смеются, но я замечаю, как Лиля нетерпеливо оглядывается: она ждет меня.

Я подхожу. Она тотчас берет меня под руку.

— Я на одну минуту, — говорит она мужу с нежной улыбкой.

Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит. Он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим.

— Ну вот я и дама, и уезжаю, и прощай Москва, — говорит Лиля и грустно смотрит на башни вокзала. — Я рада, что ты приехал. Странно как-то все... Ты очень вырос. Как ты живешь?

– Хорошо, – отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но улыбка у меня не получается, почему-то деревенеет лицо. Лиля внимательно смотрит на меня, лоб ее перерезает морщинка. Это у нее всегда, когда она думает.

– Что с тобой? – спрашивает она.

– Ничего. Я просто рад за тебя... Давно вы поженились?

– Всего неделю. Это такое счастье!

– Да, это счастье.

Лиля смеется.

– Откуда тебе знать! Но постой, у тебя очень странное лицо!

– Это кажется. Это от солнца. Потом, я немного устал, у меня ведь экзамены. Немецкий...

– Проклятый немецкий? – смеется она. – Помнишь, я тебе помогала?

– Да, я помню, – я раздвигаю губы и улыбаюсь.

– Слушай, Алеша, в чем дело? – тревожно спрашивает Лиля, придвигаясь ко мне. И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. Да, оно переменялось, оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить. – Ты скрываешь что-то, – с упреком говорит она. – Раньше ты был не такой!

– Нет, нет, ты ошибаешься, – убежденно говорю я. – Просто я не спал ночь.

Она смотрит на часы. Потом оглядывается. Муж кивает ей.

– Сейчас! – кричит она ему и снова берет меня за руку. – Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся же за меня. Мы едем на Север, на работу... Помнишь, как ты рассказывал мне о Севере? Вот... Ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг она начинает смеяться.

– Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? Я тебя поцело-

вала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. Ха-ха-ха... У тебя был тогда глупый вид.

Она смеется. Потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые. Только вечером они кажутся темными. На щеках у нее дрожат ямочки.

– Какие мы дураки были! – беспечно говорит она и оглядывается на мужа. Во взгляде ее нежность.

– Да, мы были дураки, – соглашаюсь я.

– Нет, дураки – не так, не то... Мы были просто глупые дети. Правда?

– Да, мы были глупые дети.

Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Ее ждут.

– Ну прощай! – говорит она. – Нет, до свиданья! Я тебе напишу, обязательно!

– Хорошо.

Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает это. Она искоса взглядывает на меня и немного краснеет.

– Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И, конечно, без цветов! Ты никогда не подарил мне ни одного цветка!

– Да, я не подарил тебе ничего...

Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся внизу на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны! Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах, в одном вагоне громко поют. Наверно, студенты. Лиля уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки. И еще видно, какая счастливая у нее улыбка.

Поезд уходит. Я закуриваю, засовываю руки в

карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно. И я опускаю глаза. Теперь можно признаться: весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее, честное слово, рад! Только почему-то очень болит сердце.

Обычное дело, девушка вышла замуж — это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал в пятнадцать лет. Теперь мне двадцатый. И сердце стоит в горле и поднимается все выше — скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать. Очень хорошо, что девушки выходят замуж...

Я выхожу на площадь, в глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр — я никогда не мог в них разобратся. Я подхожу к газировщице. Сначала я прошу с сиропом, но потом раздумываю и прошу чистой воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как я глотаю всего один глоток. Кажется, стало легче.

Потом спускаюсь в метро. Что-то сделалось с моим лицом: я замечаю, что многие пристально на меня смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле. Потом я снова начинаю рассматривать узоры на обоях. Если заглядеться на них, можно увидеть много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами. Или фигуры странных людей в беретах и плащах. Или лица своих знакомых. Только Лилиного лица нет на обоях...

Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени. Посмотрит ли она на эту платформу? Подумает ли обо мне? Впро-

чем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый, ее муж.

7

Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность, отошла далеко-далеко, навсегда. И это хорошо: я взрослый человек и все могу, и мне не ерошат волосы, как ребенку. Скоро я поеду на Север. Не знаю, почему-то меня все тянет на Север. Наверное, потому, что я там охотился когда-то и был счастлив. Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с Севера. Где она — я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни музыкантом... Ну что ж, не всем быть поэтами! Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены — все это очень занимает меня, ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых влюбляюсь, и они влюбляются в меня...

Но иногда мне снится Лилия. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней — о чем, я не помню. Иногда она печальна и томна, иногда радостна, на щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему семнадцать лет и я люблю впервые в жизни.

Я просыпаюсь утром, еду в институт на лекции, дежурю в профкоме или выступаю на комсомольском собрании. Но мне почему-то тяжело в этот день и хочется побыть одному, посидеть где-нибудь с закрытыми глазами.

Но это бывает редко: раза четыре в год. И потом, это все сны. Сны, сны... Непрошенные сны!

Я не хочу снов. Я люблю, когда мне снится музыка. Говорят, если спать на правом боку, сны перестанут сниться. Я стану спать теперь на правом боку. Я буду спать крепко и утром просыпаться веселым. Жизнь ведь так прекрасна!

Ах, Господи, как я не хочу снов!

1956 г.

ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Был один из тех летних теплых дней... Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвоинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасно обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.

Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого...

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера, или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шел к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы...

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное... Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кончить, застрелиться. Но и то сказать — у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, заворачивает. А это ведь смерть лезла!

— Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов! — попросил он однажды. — У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам — ходит кто-то по дому! А везде — тихо, как в гробу... Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

— Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться.

А какой работник он был, каким упреком для

меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придешь к нему — и, если летом зайдешь со стороны веранды, — поднимешь глаза на растворенное окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

— Митя!

— Ау! — тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. Потом — слабая улыбка, взмах тонкой руки:

— Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как бывало глядишь на бодрую молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую с шага на рысь.

— Да что ты распускаешься! — говорил он мне, когда я болел или хандрил. — Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке! Что ты все сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой...

Последний раз видел я его в середине октября. Пришел он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый — о буддизме почему-то, о том, что пора, пора братья за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пишешь большую вещь...

Я пошел его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

— Когда я был такой, как твой Алеша, — заговорил он, несколько успокоясь, — мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежде? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тя-

нет. Но ведь это грешно — так предаваться одному месту? Ты Алешу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле — мне так хотелось, чтобы они полюбили ее, ведь, по-настоящему, это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клен!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так синее, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...

А три недели спустя в Гагре — будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не настиг меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей...

Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на темном берегу, возле невидимого во тьме прибой, слушали его гул, слушали влажный шелкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегающей волной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал, а мне вообразалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, — я шел по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчетливые черные следы. Я свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, вошел в темноту елей, повернул направо... Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осененную елями, с полыхающими окнами.

Когда же все-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей темной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу...

«Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?» — «Еще бы! — отвечал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет!»

До сих пор мучит меня мысль: что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьем со взведенным курком, с разутой ногой? Дернул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвел бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, он раздумает, отставит ружье, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнет, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, — отбросил бы ружье и кинулся бы с радостью ко мне или, наоборот, с ненавистью взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли — и не может, отстывает...

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принес дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло это! О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон. Мой патрон!

По всему дому горел свет. Зажег свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине шелчком взвел курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы...

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слез? Или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок или, по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами? И зажмурился ли перед выстрелом или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь?

Нет, не слабость. Великая жизненная сила и твердость нужны для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? Ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас

стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потемках...

Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, еще раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, — Митя пошел к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который, предвкушали еще с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

О, какой долгий путь предстоял нам — чуть не целый километр! И какое разнообразие ожидало нас на этом пути, правда отчасти уже знакомом тебе, искоженном не раз, но разве одно время похоже на другое время, хотя бы даже и один час на другой? То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порывкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь и бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки ласково блестяли, и тропинка маслянисто темнела, то дул ветер и лопотали осины, шумели вершинами березы и ели, то бывало утро, то полдень, то холодно, то жарко — ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева — ничего!

На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цвета, без той пронзительной синевы, которая рекою льется нам в глаза ранней весной или бьет нам в душу в разрывах низких туч поздней осенью. А на тебе в тот день были коричневые сан-

дали, желтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки белыми, а серые с фисташковыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели...

Сначала мы пошли в противоположную от ворот сторону, к задней калитке, по тропе, испещренной солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. Потом ты остановился как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляния, нашел ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку.

Потупившись от радости, что я угадал твоё желание, ты взял ее и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке, и высокие, со скрипичными завитками на верхушках, еще мокрые в тени папоротники.

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня но какое бы раннее детство мне не вспомнилось, всюду я был старше тебя, пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух, окружавший нас, не кинулся с той стороны долинки, по дну которой текла Яснушка, теплый запах разогретых на солнце лугов.

— А-ле-ши-ны но-жки... — нараспев, машинально сказал я.

— Бегут по до-ожке... — тотчас послушно откликнулся ты, и по дрогнувшим твоим прозрачным ушкам я понял, что ты улыбнулся.

Да, и я так же бежал когда-то, во тьме времен, и было лето, пекло солнце, и такой же луговой запах гнал душистый ветерок...

Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей. В одной кучке, стоявшей на опушке жи-

денького березового леска, были почему-то только женщины и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынками. А на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шеренгу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли буро-красные теплушки, чухающий далеко впереди и выпускающий высокий черный дым паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастерках.

И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слезы, щурилась и все спрашивала: «Ты видишь папу, сынок, видишь? Где он, покажи хоть, с какого краю он?» — «Вижу!» — отвечал я и действительно видел отца, стоявшего с правого края. И отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдет к нам или мы к нему.

Вдруг по нашей толпе пронесся какой-то ток, несколько мальчиков и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. Торопливо сунув мне тяжелый узелок с бельем и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув вдогонку: «Беги, сыночек, к папе, отдай ему, поцелуй его, скажи, что мы его ждем!» — и я, уставший уже от жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал...

Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце мое колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня, возьмет на руки, поцелует, и я опять услышу его голос и такой уютный запах табака — ведь так давно я не видел отца, что короткая моя память о нем подернулась как бы пеплом и обернулась жалостью уже к себе за то, что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, без его голоса, без его взгляда на себя. Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец...

Выйдя через калитку в лес, мы повернули напра-

во, в сторону ротонды, которую когда-то начал строить наш сосед, но не достроил, и теперь она дико серела своим бетонным куполом и колоннами среди зелени елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу, с восхищением рассматривать.

Слева от нас катила по камешкам свои струи крошечная речка Яснушка. Мы ее пока не видели за разросшимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом темном омутке.

Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потеки смолы, кровавыми каплями вспыхивала там и сям земляника, невесомыми табунками толклась мошкара, невидимые в густоте листвы, перекликались птицы, мелькнув в солнечном луче, переметнулась с дерева на дерево белка, и ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась, мир благоухал...

— Смотри, Алеша, белка! Видишь? Вон она, смотрит на тебя...

Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда ее ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое. Проводив белку взглядом, пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал ее и снова пустился в путь.

Навстречу нам, по тропе, прыгая так высоко, будто он хотел полететь, выскочил Чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас своими глубокими длинными, как у газели, глазами, спрашивая: бежать ли ему все вперед, не собираемся ли мы повернуть назад или в сторону? Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли, он понял и опрометью бросился дальше.

Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашел и звал нас поскорее прийти.

— Слышишь? — сказал я тебе. — Наш Чиф что-то нашел и зовет нас!

Чтобы тебе не исколоться об елки и побыстрее дойти, я взял тебя на руки. Лай раздавался все ближе, и скоро под огромной прекрасной березой, стоявшей несколько особняком на едко-зеленой, сиреневой и желтой моховой полянке, мы увидели Чифа и услышали не только его лай, но и страстные, задыхающиеся всхлипывания во время вдохов.

Он нашел ежика. Береза стояла метрах в тридцати от тропинки, и я в который раз подивился его чутью. Весь мох вокруг ежика был вытоптан. Завидев нас, Чиф принялся брехать еще пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил Чифа за ошейник, и мы присели перед ежиком на корточки.

— Это ежик, — сказал я, — повтори: ежик.

— Ежик... — сказал ты и тронул его палкой. Ежик фукнул и слегка подскочил. Ты отдернул палку, потерял равновесие и сел на мох.

— Ты не бойся, — сказал я, — только его не надо трогать. Вот теперь он свернулся клубком, одни иголки торчат. А когда мы уйдем, он высунет носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты... Ему нужно много гулять, потому что он спит целую зиму. Его засыпает снегом, и он спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках?

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределенно наедине с собой или слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?

И я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представлял из себя тогда довольно тяжелый, как мне показалось, тугой и твердый сверток, который нянечка вручила почему-то мне. Я еще не донес тебя до машины, как почувствовал, что внутри свертка — теплое и живое, хоть лицо твое было прикрыто, и дыхания твоего я не ощущал.

Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и сморщенное, как всегда пишут о новорожденных, но никакой красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил поразительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас большими глазами неопределенного серо-голубого цвета. Ты весь был чудо, и только одно портило твой вид — пластырная наклейка на пупке.

Скоро ты был снова спеленат, накормлен и уложен спать, а мы все пошли на кухню. За чаем разговор начался для женщин упоительный: о подгузниках, о сцеживании молока перед кормежкой, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же все вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твое лицо. И вот когда я пришел к тебе в третий или четвертый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне и лицо твое трепещет...

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка — лицо твое приобрело выражение возвышенного, вешего знания, какие-то облачка пробегали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрствования, — плакал ли ты или смеялся или смотрел молча на разноцветные погремушки, повешенные над твоей кроваткой, — не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит. «Когда младенцы так улыбаются, — сказала потом моя мать, — это значит, их ангелы забавляют».

Вот и теперь, сидя над ежиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал, и я так и не понял, помнишь ли ты зиму. А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна! Такой обильный по ночам выпадал снег, а днем так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые от

иней березы... Ты выходил на воздух, на снег, в валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку палку, — несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты каждый раз выбирал другую, — мы вывозили тебя за ворота, и начиналась упоительная поездка. Черта палкой по снегу, ты принимался разговаривать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под нашими ногами и под полозьями санок, и все тебя слушало и понимало, одни мы не понимали, потому что говорить ты еще не умел. Ты заливался на разные лады, ты булькал и агукал, и все твои ва-ва-ва, и ля-ля-ля, и ю-ю-ю, и уип-тип-уип означали для нас только, что тебе хорошо.

Потом ты замолкал, и мы, оглянувшись, видели, что палка твоя чернеет на дороге далеко позади, а ты, растопырив руки, спишь, и румянец вовсю горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя час и два, а ты все спал — спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстегивали и развязывали, укладывали в кровать, — ты не просыпался...

Наглядевшись на ежика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел ее, остановился и, как всегда, с наслаждением выговорил:

— Кака-ая бо'ша-ая, к'аси-ивая башня!

Некоторое время ты смотрел на нее издали, второя изумленным тоном, будто видел ее впервые: «Какая ба-ашня!», потом мы подошли, и ты стал по очереди трогать своей палочкой ее колонны. Затем ты перевел взгляд вниз, на маленькое лоно прозрачного омутка, и я тотчас подал тебе руку. Так, рука об руку, мы и спустились осторожно с обрыва к самой воде. Чуть пониже был пережат, и вода там звенела, омуток же казался неподвижен, и течение можно было обнаружить, если долго следить за каким-ни-

будь плавающим листком, который почти с медленностью минутной стрелки подвигался к пережатию. Я сел на поваленную ель и закурил, потому что знал, что сидеть здесь мне придется до тех пор, пока ты не насладишься всеми прелестями омутка.

Выронив палку, ты подошел к очень удобному для тебя корню у самой воды, лег на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку. Миллиметровый кусочек краски, отколупнутый тобою от стены дома, надолго повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование пчел, мух, бабочек и мошек занимала тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок и птиц. Какая же бесконечность, какая неисчислимость открывалась тебе на дне омутка, когда ты, лежа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разглядывал это дно! Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камешков всевозможных оттенков, какой нежнейший зеленый пух покрывал крупные камни, сколько там было прозрачных мальков, то застывавших неподвижно, то разом брызгающих в сторону, и сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом!

— Па'вают 'ыбки... — сообщил ты мне через минуту.

— А-а, — сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, — значит, не ушли еще в большую речку? Это такие маленькие рыбки, мальки...

— Майки... — радостно согласился ты.

Вода в омутке была столь прозрачна, что только синева неба и верхушки деревьев, отраженные в ней, делали ее видимой. Ты, перевесившись через корень, зачерпнул со дна горсточку камешков. Облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и,

подержавшись немного, опало. Ты бросил камушки в воду, отражения деревьев заколебались, и по тому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своем занятии. Для тебя настало время бросать камни.

Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошел к самой воде и бросил его на середину омутка. Взлетели брызги, окруженный волнистыми струями воздуха, камень глухо тукнул о дно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока все успокоится, взял еще камень и, как в первый раз, оглядев его, опять бросил...

Так ты бросал и бросал, любуясь всплесками и волнами, а мир вокруг был тих и прекрасен — не доносилось шума электрички, не пролетел ни один самолет, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один Чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, с плеском вбегал в речку, шумно лакал и, вопросительно поглядев на нас, опять исчезал.

На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошел ко мне.

— Комаик кусил... — сказал ты, морщась.

Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал.

— Ну? Что будем теперь делать? Еще побросаешь или пойдем дальше?

— Пойдем дайше, — решил ты.

Я взял тебя на руки, перешел через Яснушку. Нам нужно было пересечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипень медуницы. Белые шапки ее, казалось, плавилась на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчел.

Тропинка начала подниматься — сначала среди ельника и лещины, потом между дубов и берез, пока не вывела нас на большой луг, окаймленный справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы

поднимались, уже по лугу, все выше, пока не взошли на его вершину, и нам стало далеко видно, открылся горизонт с еле заметными черточками антенн вдали, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже начался сенокос, и хоть сено было еще в валках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землей вянувший запах. Мы с тобой сели в еще не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи, ты же ушел в них с головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнил о яблоке, достал его из кармана, до блеска вытер о траву и дал тебе. Ты взял обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен беличьему.

Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель — земля радонежская, тихое удельное княжество Московской земли. Над краем поля, высоко, плавными медленными кругами ходили два коршуна. Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменялась, деревни и леса, и Радонез пропал, будто его и не было, одна память о нем осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течет все тем же руслом...

Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними, бабочки пролетали над тобой, некоторые из них, привлеченные красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но тут же взмывали, и ты провожал взглядом их восхитительный полет. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему глазам видно было, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!

Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишаших паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках, подобно диким зверям.

Лились и теперь детские слезы, лились, но совсем, совсем по другому поводу... Это ли не блаженство, это ли не счастье!

Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с тобой, эта лесная речка внизу и камушки на дне ее, брошенные твоей рукой, и чистые струи, обтекающие их, этот полевой воздух, эта белая набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подернутого голубовато-серебристой изморозью, и как всегда, красивая издали деревенка, дрожащий горизонт за нею, – этот день, как и некоторые другие прекраснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда. Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой взор далеко, глубоко назад, почувствуешь ли, что прожитых лет как бы и не было и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек? Неужели, неужели не вспомнишь ты себя и меня и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук неправдоподобно длинного летнего дня?

Куда же это все канет, по какому странному закону отсечется, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей пеленой. Вот и ты! Ты уже так много знал, уже приобрел характер, привычки, научился говорить, а еще лучше понимать речь, у тебя уже есть любимое и нелюбимое...

Но кого ни спросишь – все помнят себя с пяти-шести лет. А раньше? Или все-таки не все забывается и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка, из самого раннего детства, от истока дней? Разве не испытывал почти каждый, как, увидев что-то, вовсе даже неяркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или

запах, поразишься вдруг напряженной мыслью: это было уже со мной, это я видел, пережил! Когда, где? И в этой ли жизни или в жизни совсем другой? И долго силишься вспомнить, поймать мгновение в прошлом – и не можешь.

Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф давно прибежал, умял себе в густой траве ямку и, растянувшись, спал, подрагивая во сне лапами.

В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел вспомнить обо всем, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты раза два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошел к себе. По-моему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь, но, странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты... Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким – не таким, каким ты был тогда, в то лето, а, скажем, десятилетним. В какие только путешествия не пускались мы с тобой, чем только не увлекались!

Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка! Что Царствие Божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?

Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удлинились, когда ты заплакал.

Я ткнул папиросу в пепельницу и прошел к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно.

Но ты спал, подобрав колени. Слезы твои текли так обильно, что подушка быстро намокала. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь — будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Сны — всего лишь сумбурное отображение действительности? Но если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел кроме наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звезд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шелестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшась предстоящих страданий?

Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, глядя твои волосы.

— Сынок, проснись, милый, — говорил я, слегка тормоша тебя за руку. — Вставай, вставай, Алеша! Алеша! Вставай...

Ты проснулся, быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, прижал крепко и, нарочито бодрым голосом приговаривая: «Ну что ты, что ты! Это тебе приснилось, погляди, какое солнышко!» — стал раздвигать, откидывать на стороны занавески.

Комната озарилась светом, но ты все плакал, уткнувши лицо мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздух и так крепко вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало.

— Сейчас обедать будем... Смотри, какая птица полетела... А где наш беленький пушистый Васька? Алеша! Ну, Алешка, милый, не бойся ничего, все

прошло... Кто это там идет, не мама ли? — я говорил что попало, стараясь развлечь тебя.

Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой еще страдальчески кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и засветился, увидев любимый тобой, висящий на окне крошечный обливной кувшинчик, нежно выговорил, наслаждаясь одним только этим словом:

— Куинчи-ик...

Ты потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают обычно дети любимую игрушку, — нет, ты смотрел на него омытыми слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и расписной глазурью.

Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ножкой по столу, не смеялся, не говорил «скорей!» — ты смотрел на меня серьезно, пристально и молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, теперь далеко и с каждым годом будет все отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не мое продолжение и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдешь навсегда. В твоём глубоком, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!

Я тянулся за тобою, спешил, чтобы быть хоть поблизости, я видел, что я отстаю, что моя жизнь несет меня в прежнюю сторону, тогда как ты отныне пошел своей дорогой.

Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым, слабым голоском звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?

Впору, братец ты мой, было и мне заплакать...

А было тебе в то лето полтора года. ■